

2. Москва.

НЕЗЫБЛЕМОСТЬ БЫТИЯ

Петр Проскурин, о котором уже привыкли писать; что он масштабен, аналитичен и одновременно вполне беллетристичен, на этот раз своей новой повестью, пожалуй, несколько озадачит критиков. Не проскуринская вроде бы эта вещь: нет в ней ни доверительно бытовой интонации, при которой любовь уж непременно земная, и милой, простой души нараспашку тоже нет.

Правда, начинается повесть «В старых ракигах» очень бытово и даже с надрывом, со сцены, характерной для сюжетоведения в проскуринских произведениях, где, как правило, нанизываются драматичные коллизии: у героя, горожанина Василия, при смерти мать Евдокия.

Рассказывается, как говорила Евдокия слабо: «Иди поешь, успеешь со мной-то...». И как Василий хотел было запротестовать, но не решился, потому что взгляд у матери был сегодня какой-то незнакомый, жутковато-светлый, и виски еще больше впали и зажелкли. Есть в этой же сцене и меткие жесткие детали о том, как советует жена Василию не исполнять волю скончавшейся матери и не везти хоронить ее в деревню, в родные Вырубки, а похоронить на месте, в городе, потому что так обойдется дешевле, а матери все равно уж теперь... Будут и дальше подобные откровенные детали-наблюдения: расскажет автор и о бюрократических препонах в городском похоронном бюро, и о пьянстве в той деревне, ку-

да все-таки поедет исполнять волю матери Василий, и про всякие обрядовые причитания старушек... Но по мере развития сюжета тем не менее все настойчивее и решительнее отводит Проскурин эти привычные для себя наблюдения во второй, сугубо фоновый и для данной вещи вовсе ничего не значащий план.

С ошеломляющей быстротой повесть по ходу действия как бы трансформируется в иное измерение. За словами, деталями, описаниями, вырастая из них и одновременно как бы перерастая их, закрывая их собой, рождается общий звук — словно бы единый ностальгический звук, шепчущий и светло грустный. Мы начинаем ощущать внутренний симфонизм действия, при котором эмоции и художественная условность приобретают дар своего собственного, самостоятельного голоса, и, как в музыке, воплощаются в столкновении драматической главной и лирической побочной темы. Потом мы заметим, что и само построение повести сугубо симфоническое: четыре части с драматической первой частью, лирической (воспоминания о босоногом детстве) второй, бурлескной третьей и трагическим финалом.

Выясняется, что Петр Проскурин хотел написать нечто вроде современного мифа. Мифа, в котором писатель, обычно любящий логические ответы, поучительные примеры и даже нравучения, теперь скорее только задает вопросы себе.

Есть принцип, что художника нужно судить в рамках внутренних законов той художественной формы, которую он избрал для своего произведения. И при таком ключе мы обязаны принять ту гипертрофию эмоций, которую по отношению к обычным канонам лирической деревенской прозы мы восприняли бы как нагнетание и даже как мелодраматизм.

Наверное, подобное авторское словоизъяснение при другом стиле воспринималось бы нами как излишне туманное и даже мистическое. Но здесь...

«Ему показалось, что он проснулся сразу же от голоса матери, позвавшего его, и он услышал этот ее голос еще во сне, а уж только затем проснулся. Он это хорошо помнил, так же, как и то, что еще во сне этот, совершенно особый голос матери, говорил ему, и он некоторое время лежал, обливаясь от невыносимого страха холодным потом... И тут Василий опять услышал ее голос, вернее, не услышал, а как бы почувствовал его изнутри; голос, по-прежнему какой-то ОСОБЫЙ, нечеловечески гулкий, прозвучав где-то глубоко в его душе, а сердце, ударил в мозг... словно чей-то тихий вздох опять потряс всю душу Василия, и только теперь он понял, что матери уже нет и никогда больше не будет... что-то опять сверкнуло и простонало в душе...»

Так описывает Проскурин то потрясение, которое происходит с Василием в первой части повести. Потрясение, объясненное самим автором в одной фразе: «В один миг он (герой. — А. Б.) увидел жизнь в совершенно новом повороте».

Какой же этот «новый поворот»? В третьей части Проскурин, раскрывая душевное состояние Василия, напишет:

«Это было выше и глубже страха; это был еще неосознанный, живущий и копиющийся в десятках и сотнях поколений, бесконечно передающийся от отца и сыну трепет живой жизни... перед тайной конца...»

И тут же по толстовски контрастом противопоставит этой тайне конца грядущее весеннее горькое приподнятое, незыблемое бытия, горькое обновление:

«Василий вздохнул; он стоял уже под самыми ранними, едва-едва тяжелыми сапогами в раскисшую землю... и солнце, теплое, густое, то показывалось, то пропадало за рваными облаками... Но главное было в самих ранках. Кора на них, там, где она не была покрыта многолетними толстыми полопавшимися струпами, а оставалась серо-зеленой и гладкой, уже неуловимо изменила свой цвет: нежный, зеленый, живой румянец появился в ней и просвечивал словно изнутри... два-три теплых дня — и ранки были готовы бесшумно взорваться зеленым пламенем, выбросить незрелые бледно-желтые серёжки, чтобы еще (какой же раз под этим небом!) подтвердить незыблемость и радость жизни...»

Пожалуй, этим контрастным сопоставлением Петр Проскурин добивается высшего звучания своей повести. И уже не очень нужными, а порой и несколько деланными кажутся дальнейшие фразы насчет откровения, которое обожгло душу Василия, и все эти длинные и не очень выверенные рассуждения про саму обнажившуюся душу жизни, ее сокровенную языческую тайну.

Финал повести романтичен: не желая продавать материнский дом, Василий дарит его «кому-то третьему, кто с самого начала

неотступно следит за ними». Этим третьим оказывается огонь.

Почему отдаст Василий свой старый родительский дом огню? Крестьянин Андрей, друг юности горожанина Василия, кричит ему: «Ты душу свою палишь, корень свой в огонь кинул!» Но по-другому оценивает поступок сына мать, а вернее, внутренний голос самого Василия, его совесть, которая говорит голосом матери:

«Теперь он услышал голос матери. Слово что тяжелым ударом стонуше отозвавшись во всем его существе, остановил его и рывком заставил повернуться назад. И он увидел мать, она была и не была, он видел ее глаза, устремленные ему прямо в душу. Это были ее глаза, но никогда раньше она так не смотрела, она не осуждала и не прощала, она словно что-то стремилась понять, проницать нудно-то за все известные ему пределы».

Будут стремиться понять рассказанное Петром Проскуриным и читатели. Во всяком случае, вопросов в своей маленькой повести прозаик поставил много, а дешифровка метафор, аллегорий, символических требует непременно сопереживания, созвучия душ. Но если даже читательское и авторское резюме далеко не всегда окажется одинаковыми, ценность произведений такого рода уже в одном том, что растревожится душа читателя, что его заставят задуматься, что затронуты обычно неприкасаемые, самые сокровенные сердечные струны. В новой своей повести «В старых ракигах» Петр Проскурин показал себя тонким аналитиком, смело и интересно продолжая одну из старых, толстовских традиций русской психологической прозы.

А. БАЙГУШЕВ

РАЗДУМЬЯ НАД КНИГОЙ СТИХОВ

Олег Шестинский. «Поэмы». Издательство «Советская Россия». 1979. 144 стр. 60 коп.

ЛИЦА ЛЮДЕЙ НЕОБЫЧНОЙ СУДЬБЫ

О век Бабьих Яров и Лидиц, век слезных соленых морей! Я жив еще, я — очевидец жестокой блокады моей.

Я вовсе не стану хвалиться — ничемны хвalebствы гроши... Вглядитесь в обычные лица людей необычной души.

Такими словами открывает Олег Шестинский новую книгу своих поэм. Подобный зачин не случаен: в центре каждого из произведений этого сборника, будь то «Лестница», воспоминание о блокадном ленинградском детстве, или стихотворный рассказ о судьбах сегодняшнего хлеба, или поэмы, посвященные жизни братских стран, действительно находятся на первый взгляд обычные лица простых современников автора. Но таков уж век, в котором они живут, что на плечи каждого человека ложится высокая и трудная ответственность за жизнь сограждан, за судьбу земли, подчас трагическая ноша — и тогда эти обычные люди словно расправляются, их простые дела становятся деяниями века.

Мне представляется знаменательным, что новая книга Шестинского вышла к концу десятилетия, ставшего в нашей литературе временем своеобразного «поэзного взрыва». В дискуссиях вокруг этого жанра при всей разнице оценок выявились по крайней мере две общие точки зрения на развитие поэмы за последние полтора десятилетия. Вкратце говоря, первое — настало время масштабного осмысления глубоких перемен в духовном мире современника. Второе — усилилась лирическая сторона поэмы, в целом, происходит уси-

ление и роли личности героя как центральной фигуры сюжета, и роли авторского «я» как самостоятельной лирической единицы, но вместе с тем во многие виды стиха, как бы искони считавшиеся лирическими, проникает мощная эпическая струя, усиливается элемент опосредованности в отношениях между автором и героем.

Сказанное в немалой степени относится и к творчеству Олега Шестинского. Автор этих заметок должен признаться, что далеко не все ему было по душе из лирики ныне маститого поэта, начавшего свой путь «на берегах Невы». Вот, скажем, в его предпоследней книге стихов «Устои» именно те вещи мне запомнились и легли на сердце, которые тяготели к крупномасштабному плану осмысления, даже будучи не очень большими по размеру... Я говорю это не в укор автору, а чтобы отнестись к своему основному вопросу: хорошо, что у моих старших товарищей по цеху, давно «вставших на ноги», появляется новое дыхание, реализуются прежде таившиеся творческие возможности. Но исток их, как и прежде, коренится в самом заветном, незабываемом, в начале судьбы.

Но будет до смерти во мне таиться мальчонка блокадный, нан колос таится в зерне.

Это финальные строки поэмы «Лестница», открывающей новую книгу Шестинского. На мой взгляд, поэма стала и наиболее сильным, мастерским произведением в сборнике, и наиболее характерным проявлением творческого метода автора. Она создана на замесе, в котором сочетаются с добрыми традициями

русской поэзии подлинно новаторские, поисковые и смелые тенденции. Цельна и оригинальна ее композиция, где замысел и воплощение мыслей и чувств автора отличаются свежестью, органичностью. Она подсказана ему самой жизнью, бытием и бытом блокадного ленинградского дома, где прошло детство поэта. Этот дом стал в поэме символом и горя людского, и героизма, и верности, и человеческих слабостей и пороков — словом, воплощением всех людских свойств и черт, столь резко обнаженных в грядущих, невыполненных блокадных испытаниях. Каждый этаж дома — отдельная глава произведения, повествующая о судьбах его жильцов, тех самых людей с обычными лицами и необычными душами... В этой поэме автор дальше всего отошел от риторики, порой вредящей некоторым его большим вещам (как, например, лирическому монологу «Начало» из этой же книги), он просто рисует с помощью колоритных приемов и мазков, живой разговорной речи подлинные, реальные лики блокадных ленинградцев. Глубокая и жаркая человечность — лейтмотив авторского голоса.

О поэме «Одиссея Михаила Петрова» уже писали критики после ее публикации в журнале «Наш современник». Поэтому скажу только, что, напечатанная в ряду других поэм, она как бы получает «излучение» от их лучших граней, отчего становится заметнее некоторые ее корневые свойства — скажем, фольклорная основа ее отдельных частей, разница между речью автора и его героев. Судьба солдата, прошедшего сквозь горнило боев, сквозь кошмар плена и сохра-

нившего не только свое человеческое достоинство, но и дар художника, душу поэта, рельефнее и ярче предстает перед нами после прочтения других поэм. Книга пластично объединена мотивом братства народов, испытанного в бою и труде. Этот мотив получает высокое драматическое звучание в «Одиссее Михаила Петрова», где героя спасает, жертвуя своей жизнью, польский крестьянин, и в светлой, насыщенной красками и запахами нашего горного юга поэме «Будь Садовником Земли», и в грустно бесшабашной, удалой песенной поэме «Ночь в доме повешенного».

Надо сказать, активный поиск автора не обходится без некоторых издержек формы. Трагическое и полифоничное произведение «А под небом есть земля» в целом удалось Шестинскому. Оно раскрывает трагедию сербского города Крагуевац, где фашисты расстреляли целый класс гимназистов вместе с директором. Автор, обоснованно решив внести личностный элемент в поэму, прибег к широкому применению чисто «кинематографической» метафоры: описание событий в Сербии перемежается с эпизодами ленинградской блокады, происходившими в те же дни и часы. Но во всех отдельных экспрессивных и динамичных фрагментах глав, где применен подобный прием, заметна явная «нестыковка» стилей и речевых пластов поэмы, чувствуется и налет ненужной декларативности, обилие прозаизмов. Хотелось бы, чтобы автор еще вернулся к работе над этой вещью, ибо в ней есть очень хорошая основа. Жизнелюбивая и тверд голос поэта, отметающего

гезис о надмирности, аполитичности художника, о том, что якобы надо предавать забвению драму истории: «Жизнь отдаю, чтоб строка пахла созревшею сливой, черной струей родника, вспаханной нивой...».

Нива, пашня, труд на земле, подвиг хлебороба — тема поэмы «Хлеб наш насущный». Ее герои — реальные люди, друзья и добрые знакомые автора, растящие хлеб и в нашей стране, и на полях братских славянских стран. «Честной мерою хлебной мерю все на земле», — говорит автор от лица своего поколения. В этой поэме, как и во многих других произведениях новой книги, Шестинский нашел убедительные и точные средства для выражения главной своей мысли — человек ответствен, кем бы он ни был, за свое поколение, за свой труд, перед всем миром. Перед Жизнью. Для него и его героев —

Мир полон доброты неотлеченной — простой как хлеб иль кружка молока.

Я хотел бы отметить еще одно интересное свойство творческой мастерской Олега Шестинского. Он уже давно известен как поэт, любящий обращаться к свободному стиху и в оригинальных вещах, и в переводных работах. Русский верлибр по-настоящему, на мой взгляд, только-только начинает свою историю, и обращение к нему под пером многих поэтов нередко дает либо ритмизованную, либо обычную прозу. Были подобные промахи и у Шестинского. Однако именно в последней книге его поэм я увидел образцы хорошего русского свободного стиха, удачно перемежаемого с белым и рифмованным. Речь тут идет далеко не только о технике поэзии: отсюда, что зрелый художник осваивает новые горизонты творчества.

Ст. ЗОЛОТЦЕВ